

## Владимир Короленко

Ат-Даван<sup>1</sup>

### Из сибирской жизни

#### I

– Н-ну! уж и дор-рога! – сказал мой спутник, Михайло Иванович Копыленков. – Самая эта проклятая путина, хуже которой уж и быть невозможно... Правду ли я говорю ай нет?

К сожалению, Михайло Иванович говорил совершенную правду. Мы ехали вниз по Лене. По всей ширине ее торчали в разных направлениях огромные льдины, по-местному «торосья», которые сердитая быстрая река швыряла осенью друг на друга в борьбе со страшным сибирским морозом. Но мороз наконец победил. Река застыла, и только гигантские торосья, целый хаос огромных льдин, нагроможденных в беспорядке друг на друга, задавленных внизу или кинутых непонятным образом кверху, остались безмолвным свидетелем титанической борьбы, да кое-где еще зияли длинные, никогда не замерзающие полыньи, в которых прорывались и кипели быстрые речные струи. Над ними тяжело колыхались холодные клубы пара, точно в полыньях действительно был кипяток.

А с обеих сторон над этим причудливым ледяным хаосом стояли молчаливые огромные Ленские горы. Жидкая листвень цеплялась по склонам, широко раскидывая корни, но камень не дает ей расти, и склоны усеяны сплошь густою древесною падалью. Ближе вы видите трупы деревьев, запорошенных снегом, с вырванными из почвы, судорожно скрюченными корнями. Дальше эти подробности исчезают, а к вершине горы склон покрыт валежником, точно густою сеткой. Упавшие деревья кажутся бесчисленными иглами, точно хвои в сосновом лесу, а между ними, еще живые, тянутся такие же прямые, такие же тонкие и жалкие лиственницы, пытающие счастье над трупами предков. И только на ровной, будто обрезанной, вершине лес сразу становится гуще и тянется длиною, темною, траурною каймой над белым скатом берега.

И так на десятки, на сотни верст!.. Целую неделю уже наш возок ныряет жалкою точкою между торосьями, колыхаясь, точно лодочка на бурном море... Целую неделю я гляжу на полосу бледного неба меж высокими берегами, на белые склоны с траурной каймой, на «пади» (ущелья), таинственно выползающие откуда-то из тунгусских пустынь на простор великой реки, на холодные туманы, которые тянутся без конца, свиваются, развертываются, теснятся на сжатых скалах поворотах и бесшумно втягиваются в пасти ущелий, будто какая-то призрачная армия, расходящаяся на зимние квартиры. Тишина томит душу. И только по временам по реке ухнет вдруг тяжелым стоном треснувший лед, зашипит, как пролетающее ядро, отдастся эхом, как пушечный выстрел, пронесется куда-то далеко назад, в оставленные нами пустынные извилины Лены, и долго еще звенит отголосками и умирает, пугая воображение причудливыми, внезапно воскресающими дальними стонами.

Мне было грустно. Мой спутник томился и нервничал. Возок наш то и дело кидало с боку на бок, и уже не раз он опрокидывался совсем. При этом, к великой досаде Михайла Ивановича, случалось все как-то так, что валились мы неизменно в его сторону. Это было естественно, но все же причиняло ему большое неудовольствие. Однако случись иначе, мне грозила бы серьезная опасность, тем более что в таких случаях он, с своей стороны, не делал ни малейших усилий. Только крикнет, бывало, и деловито обращается к ямщику:

– Подымай!

Ямщик, как ни трудно, подымает, и мы едем далее.

Мне казалось, что уж месяц отделяет меня от Якутска, из которого мы выехали всего

---

<sup>1</sup> Ат-Даван – станция на Лене, около трехсот верст выше Якутска. (Примеч. В. Г. Короленко.)

дней шесть назад, и чуть не целая жизнь от ближайшей цели путешествия, Иркутска, до которого осталось более двух тысяч верст.

Едем мы тихо: сначала нас держали неистовые морозные метели, теперь держит Михайло Иванович. Дни коротки, но ночи светлы, полная луна то и дело глядит сквозь морозную мглу, да и лошади не могут сбиться с проторенной «по торосу» узкой дороги. И однако, сделав станка два или три, мой спутник, купчина сырой и рыхлый, начинает основательно разоблачаться перед камельком или железной печкой, без церемонии снимая с себя лишнюю и даже вовсе не лишнюю одежду.

– Что вы, Михайло Иванович! – пытаюсь я протестовать в таких случаях. – Станок бы еще можно сегодня...

– Куда к шуту торопиться-то? – отвечает Михайло Иванович. – Чайком ополоснуть утробу-те, да на боковую.

Есть, «полоскаться» чаем и спать – все это Михайло Иванович мог производить в размерах поистине изумительных и все это совершал тщательно, с любовью, почти с благоговением.

Однако, кроме этого, у него были еще и другие соображения.

– Народ здесь, – говорил он таинственно, – на копейку до чрезвычайности, братец ты мой, жаден. Бедовый самый народ, потому что золотом набалован.

– Ну, золото-то далеко, да и не слышно ничего такого о здешних местах.

– А вот как нас с тобой ограбят, так и услышишь, да поздно... Чудак! – прибавлял он, быстро впадая в «сердце», – какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Это тебе не Расея! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое место.

Вообще Михайлу Ивановичу «здешняя сторона» не внушала ничего, кроме искреннего омерзения и брезгливости. Все здесь, начиная с угрюмой природы и людей и кончая бессловесною тварью, не избегало с его стороны самой придирчивой критики. Он знал только одно: здесь, если «пофартит», можно скоро и крупно разжиться («в день человеком сделаешься»), и поэтому жил здесь уже несколько лет, зорко выглядывая случай и стремясь неуклонно к известному «пределу», после которого намеревался вернуться «во свою сторону», куда-то к Томску. В этом отношении он напоминал человека, которому за известное вознаграждение предложили пробежать голым по сильному морозу. Михайло Иванович согласился, и вот теперь он бежит, ухая и пожимаясь, к своему пределу. Только бы добежать, только бы схватить, а там... пропадай хоть пропадом вся эта гиблая сторона, – Михайло Иванович не пожалеет.

В данное время, кажется, он уже значительно приблизился к пределу и, быть может, именно поэтому ужасно нервничал: а что, дескать, ежели именно теперь кто-нибудь у него схваченное-то и вырвет?... Михайло Иванович, о котором я слышал много рассказов, рекомендовавших в самом ярком свете его предприимчивость, доходившую до дерзости в начале здешней карьеры, – теперь трусил, как баба, и мне поневоле приходилось из-за этого проводить с ним скучнейшие вечера и долгие ночи на пустынных станках угрюмой и безлюдной Лены.

## II

В один из таких морозных вечеров я был разбужен испуганным восклицанием Михайла Ивановича. Оказалось, что мы оба заснули в возке, и когда проснулись, то увидели себя на льду, под каменистым берегом, в совершенно безлюдной местности. Колокольчика не было слышно, возок стоял неподвижно, лошади были распряжены, ямщик исчез, и Михайло Иванович протирал глаза с испугом и удивлением.

Вскоре, однако, недоумение наше рассеялось. Я взгляделся в ровный каменный берег, уходивший стеной вдаль и искрившийся под лучами полного месяца. Невдалеке тропинка исчезла в расселинах скал, а прямо над головой свесился высокий крест якутской могилы. Хотя могила на берегу, даже и совсем пустынном, не редкость в том краю, так как якут

старается лечь на вечный покой непременно на возвышенности, у воды, в таких местах, где много дали и простора, – но все же я узнал Ат-Даванскую станцию, которую заметил уже в первую свою поездку. Красный сланец с причудливыми слоями, напоминавшими какие-то неведомые письмена, ровный, будто искусственно сложенный обрыв, жидкие листовенницы, якутская могила с крестом и срубом и, наконец, длинная пелена белого дыма, тихо нависшая с берега над рекой, – все это вспомнилось мне сразу. Здесь нет въезда, берег представляет отвесную стену, и потому зимой сани оставляют на реке, а лошадей приводят узкой тропой прямо на лед. Михайло Иванович тоже скоро успокоился, тем более что на тропинке уже мелькали фонари.

Через минуту мы были наверху, на станции.

Маленькая станционная комната была натоплена; от раскаленной железной печи так и пыhalo сухим жаром. Две сальные свечки, оплывшие от теплоты, освещали притязательную обстановку полуякутской постройки, обращенной в станцию. Генералы и красавицы чередовались на стенах с объявлениями почтового ведомства и патентами в черных рамах, сильно засиженных мухами. Вся обстановка обнаруживала ясно, что станция кого-то ждала, и мы не имели оснований приписать все эти приготовления себе.

– Вот, братец ты мой, и чудесно! – радостно говорил Михайло Иванович, принимаясь за переметы со всякою дорожною снедью. – Эка теплота-то благодатная! Тут уж шабаш, ночуем беспрерывно! Эй, кто там!.. писарь, что ли? Самоварчик бы нам да кипяточку для пельменей...

– Ну, нет, Михайло Иванович, – попытался я возразить, – еще рано. До N доедем, а там и ночлежничать можно.

– Лошадей, милостивый государь, нет, – послышался сзади меня дребезжащий, слащавый и как будто робеющий голос.

Я оглянулся. В комнату входил небольшой круглый человек неопределенного возраста, одетый довольно оригинально. Кургузый сюртучок, клетчатые панталоны, пикейный жилет, сорочка с манжетами и даже старинною плойкой, цветной галстук с золотыми мухами по зеленому полю – все это слегка уже полинявшее, слежалое, как будто надетое по случаю, напоминало о каких-то давно прошедших временах. На ногах у вошедшего были тяжелые валенки, наряду с которыми кургузый немецкий костюм выглядел очень комично. Впрочем, маленький человек не сознавал, по-видимому, этого контраста и выступал щеголевато, мелкими, «щепоткими» шагами.

Физиономия незнакомца, как и вся фигура, была какая-то серенькая, тоже как будто слегка подержанная или лежалая, а теперь приглаженная и почищенная для случая. В улыбке, в серых глазах, в тоне голоса заметна была претензия на некоторую культурность. Маленький человек как будто хотел показать, что он видал лучшие дни, знает «обращение» и при других обстоятельствах стоял бы с нами на равной ноге. Но вместе с тем он как-то сжимался и робел, как будто его слишком часто осаживали, и он боялся того же от нас.

– Как же нет лошадей? – возразил я, посмотрев в книгу, выложенную, по-видимому, недавно на видном месте. – Две тройки должны быть на станции.

– Так точно, – покорно ответил он, – должны находиться. Только, собственно... как бы вам, милостивый государь, объяснить...

Он замялся.

– Пожалейте меня, господа проезжающие, не требуйте, – произнес он вдруг чрезвычайно жалобным и приниженно-просящим голосом.

– Но почему же это? – удивился я.

– Экие вы, право! – с неудовольствием вмешался Михайло Иванович, успевший уже стащить с себя даже брюки. – Почему да почему? Ну, куда вы торопитесь? Дети у вас, что ли, плачут?.. Видишь ведь, братец ты мой, человек слезно просит – значит, причина!

– Так точно-с, – обрадовался незнакомец и обратился к Копыленкову с сочувственной улыбкой, обдергивая полы своего пиджака, – так точно-с, как вы изволили заметить:

неужели без причины стану чинить господам проезжающим задержку? Никогда-с!

Последнее слово он произнес как-то даже гордо, выпрямился при этом и обдернул пиджак.

– Ну, хорошо, – сказал я, сдаваясь тем охотнее, что понимал невозможность вытянуть моего быстро разоблачившегося спутника из этой теплой комнаты на трескучий вечерний мороз. – Но все же объясните вашу причину, если это не тайна...

Сочувственная улыбка озарила все лицо маленького человечка. Он увидел, что дело сладилось, и намеревался ответить мне с видимою благосклонностью, но вдруг насторожился. Снаружи, с реки, сквозь треск железной печурки, слышался звон.

Дверь отворилась, староста, полуякут по наружности, осторожно вошел в комнату, тщательно запер дверь и сказал:

– Почта келлэ, Василь Спиридоныч...

– А, почта! – успокоился старичок. – Ну, бар-антах (ступай), чтоб живо!.. Сейчас иду, извините меня, почтенные господа...

Он вышел. Станция переполнилась движением. Хлопали двери, скрипели ступени, ямщики таскали баулы и сумки, суетливый звон уводимых и перепрягаемых на льду троек теснился каждый раз в отворяемую дверь, ямщики кричали друг на друга по-якутски и ругались на чистом русском диалекте, доказывая этим свое российское происхождение...

### III

Через несколько минут в комнату не вошел, а вбежал какой-то человек небольшого роста в сильно потертой казенной шинели, в якутском малахае и обвязанный шарфом. Он вбежал так торопливо, как будто за ним кто гонится, и тотчас же направился к железной печке.

Скинув шинель, он остался в какой-то жиденькой шубке на кроличьем меху, сильно похожей на женскую кацавейку; когда же снял и шубку, то под ней оказался старый, изорванный под мышками мундир почтового ведомства.

Действительно, это был почтальон, так торопливо убежавший от мороза, который на протяжении длинного перегона, видимо, одержал над ним значительные победы. Бедный молодой человек рвал с себя настывшие одеяния, как будто в них засел целый рой пчел, и, не снимая еще малахая и шарфа, быстро скинул с ног валенки, которые и уложил подошвами к печке. Снятие шарфа и малахая заняло более времени. Якуты и карымы не носят бороды и усов. Это вошло уже в эстетические привычки, но объясняется чисто климатическими условиями: бедняга почтальон, по-видимому, дорожил этими атрибутами, и теперь жидкая бороденка и такие же усики, которыми он, быть может, пленял где-нибудь в Киренске какую-нибудь заезжую невесту из семьи состоятельного поселенца, – превратились в одну сосульку, плотно соединившую его голову с малахаем и шарфом. Нужно было немало времени, пока наконец представитель почтового ведомства, совавший голову чуть не в самое пламя и разминавший льдины полузастывшими пальцами, предстал перед нами в своем настоящем виде: молодое, но значительно отекавшее лицо, беспокойные, но тусклые глаза, испуганная подвижность во всей фигуре, короткий и узкий мундир, лопнувший по швам, и заячьи чулки на ногах.

– Че! – отряхнулся он. – Темны берть, мороз улахан (очень холодно, большой мороз)... Дозвольте рюмочку, господа!

– Угощайся, – ответил Копыленков благодушно. – Несчастный ты самый человек.

Глаза молодого человека как-то опять испуганно заморгали. Холодное сожаление купца только ярче напомнило ему холод дороги, и проглоченная рюмка пролетела, будто льдинка. Вследствие этого он налил другую и отправил вслед за первой. Только тогда испуганное выражение начало исчезать с лица бедного малого.

– Верно, – сказал он. – Собачья жизнь... Да и морозы же стоят, удивительное дело...

– Одежонка у тебя – ой-ой плоха. Не по здешнему месту.

– Одежа ничего. А впрочем... на восемь рублей не очень нащеголяешь...

Почта пробегает по этому огромному тракту один раз в неделю. Зимой трехтысячный путь она делает в девятнадцать дней, летом, конечно, дольше. Осенью и весной, когда Лена еще не стала или уже тронулась и ледоход мешает движению лодок, почту везут в переметных сумах верхами. Целый караван вьючных лошадей жметя тогда между рекой и каменными горами, то огибая, по брюхо лошади в воде, какую-нибудь выдавшуюся скалу, то карабкаясь по каменистым тропинкам, то мелькая на вершинах чуть не под облаками. Трудно себе представить занятие, требующее большей выносливости, присутствия духа, терпения и здоровья... Три тысячи верст!.. Ямщикам тоже трудно, но ямщики давно вернулись по домам и отдыхают в ожидании редкого проезжающего, порой даже до следующей почты, а почтальон опять трясется в седле, или качается на бурной волне огромной реки, или коченеет, забившись меж кожаными баулами в санях. И это при обычных почтовых окладах...

Правда, почтальон изобретает еще посторонние средства. В Иркутске он запасается бочонком дешевой водки, которую продает на станках писарям и ямщикам, купит только что вышедшие календари, возьмет на комиссию пачку лубочных картин. Все художественные произведения, обильно украшающие стены станков, ему обязаны доставкой своей в эти далекие страны. Он совершенствует эстетические взгляды полуякутов-станочников, водворяя на стенах гравированные портреты получивших где-то премию красавиц, он содействует популярности генералов, он же развенчивает их, заменяя старых героев новейшими... Однако эта полезная деятельность мало скрашивает судьбу горемыки-почтальона, и если он остается жив в своей плохой одежонке среди необычайных морозов, то приписывает это главным и даже исключительным образом водке, которой выпивает на каждой станции огромное количество без всяких видимых последствий, благо она достается ему дешево и доставляет даже некоторый, – право же, невинный при этих условиях, – доход...

От него же главным образом этот трехтысячный тракт, с его почти единственными обитателями-станочниками, узнает новости, совершающиеся в далеком мире.

Такой-то подвижник почтового ведомства стоял теперь у железной печи, с подогнутыми от холода ногами, протянув руки к пламени и кидая жадные взгляды на наши бутылки.

– А это у вас коньяк?.. Коньячку я еще хвачу, – произносил он вдруг с робкою фамильярностью, подбегал к столу, наливал, опрокидывал и опять убегал к огню все с тем же видом человека, испуганного внутренним ознобом.

– Слышь, почта, давай чайком побалуемся, – предложил Копыленков.

– Невозможно, господа почтенные, – тороплюсь. Слушай, парень, – дружески обратился он к вошедшему в эту минуту писарю, – поберегайся! Едет ведь...

Старичок вздохнул.

– Что бог даст! Ждем давно, хоть бы уж как-нибудь скорее...

– Теперь живо. Мне бы вот как-нибудь улететь, не напороться бы. Да где, не уйти – догонит! Хорошо, если на дороге где-нибудь...

– Тебе-то что?

– Да все от греха подальше. А слышь, парень, про жалобы-то узнал ведь...

– Ну?

– То-то... Сказывают, осатанел, беда!

– Авось бог милостив. Мы не жаловались...

– Да вы это про кого? – спросил Копыленков.

– Арабин, курьер... Теперь из Верхоянска обращается.

– Так-так-так! Вот почему у тебя и лошадей-то не оказалось. Понял! А вдруг бы мы у тебя лошадей-то последних и взяли....

– Совершенно верно-с... Судите сами: приедут они сюда, и вдруг я им объявлю: нет лошадей! Что же это-с... Ведь тогда им здесь ночевать-с...

Копыленков захохотал.

– Ну, он тебя, братец, за ночь-то съест и с пиджаком с твоим.

Почтальон тоже засмеялся, как-то порывисто, закинув голову назад. Старичок постарался улыбнуться, но больше из вежливости. Глаза его были задумчивы и озабочены.

– Бог знает, бог знает... Прошлый раз уберегла царица небесная... Скотиной все-таки назвал.

– Удостоил?

– Да-с. Это что ж... Конечно, по прежнему времени, состоявши в чине коллежского секретаря, мог обижаться... Ну, между прочим, в настоящем ничтожном положении обязан терпеть... Вы самоварчик изволили приказывать? – спохватился он вдруг. – Ах, боже мой, что же я-с... Сейчас будет готово, – два самовара у нас. Ежели в случае приедет, и ему подадим... Сейчас...

#### IV

Через несколько минут нестарая еще и довольно красивая женщина, при входе которой почтальон опять закинул голову и засмеялся своим прерывистым смехом, а писарь стал как-то особенно серьезен, внесла небольшой самоварчик и принялась уставлять чайную посуду. Мы пригласили к чаю старичка и почтальона. Последний отказался и так же быстро, как прежде скидал с себя, стал натягивать свои не совсем высохшие одеяния. Писарь тоже пытался отказаться из приличия, но затем, на вторичное приглашение, согласился, видимо польщенный.

– С превеликим удовольствием разделю компанию, – сказал он и затем, застегнув пиджак на все пуговицы и взявшись рукой за спинку стула, поклонился и произнес:

– В таком случае считаю за честь рекомендоваться: Кругликов, Василий Спиридонов, бывший коллежский секретарь... Приятно приобрести знакомство.

– Значит, служил? – спросил Копыленков.

– Так точно-с, по комиссариатской части, во флоте-с.

Почтальон облачился, сунул нам всем на прощание руку, еще раз сказал: «А это спирт у вас? Хвачу-ка еще спирту!» – хватил и торопливо выбежал на мороз. Я оделся и вышел за ним.

Нужно было подойти к обрыву у могилы с наклонившимся крестом, чтоб увидеть почту внизу.

Река, загроможденная белым торосом, слегка искрилась под серебристым и грустным светом луны, стоявшей над горами. С того берега, удаленного версты на четыре, ложилась густая неопределенная тень, вдали неясно виднелись береговые сопки, покрытые лесом, уходившие все дальше и дальше, сопровождая плавные повороты Лены... Становилось и жутко, и грустно при виде этой огромной ледяной пустыни.

Почта – три тройки – двинулась, колокольчики сразу, как-то сбивчиво и шумно, заговорили под моими ногами, как будто ободряя друг друга. Три черных пятна, точно фантастические многосоставные животные, шевельнулись по снегу и замелькали между торосьями, становясь все меньше и меньше. Их давно уже не было видно, а звон все стоял такой же ясный в морозном, точно стеклянном, воздухе... Каждый колокольчик говорил своему: расстояние уменьшало только силу, но не ясность звука. Потом все исчезло внезапно, только торосья искрились фантастическим хаосом, да сопки тихо спали в тени, и какие-то неясные грезы передвигались под дальними берегами.

Чуть не все население станка провожало почту... На бедном Ат-Даване, приютившемся под каменными горами, этот пролет редкой почты – целое событие.

Но станок ждал и томился ожиданием еще другого события.

Когда почта исчезла и звон затих, гурьба ямщиков, тихо подымавшихся с реки, прошла мимо меня, разговаривая по-якутски. Мне трудно было разобрать эти тихие речи, однако я понял, что говорят они не о том, кто уехал, а о ком-то, кто должен приехать сверху. При этом

имя «Арыбын-тойона» раза два коснулось моего слуха.

Я остался еще на берегу, привлекаемый грустным очарованием. Воздух был неподвижен и полон какой-то чуткой, кристаллической ясности, не нарушаемый теперь ни одним звуком, но как будто застывший в пугливом ожидании. Стоит опять треснуть льдине, и морозная ночь вся содрогнется, и загудит, и застонет. Камень оборвется из-под моей ноги – и опять надолго наполнит чуткое молчание сухими и резкими отголосками...

Мороз все крепчал. Здание станции, которое наполовину состояло из юрты и только наполовину из русского сруба, сияло огнями. Из трубы над юртой целый веник искр торопливо мотался в воздухе, а белый густой дым поднимался сначала вверх, потом отгибался к реке и тянулся далеко, до самой ее середины... Льдины, вставленные в окна, казалось, горели сами, переливаясь радужными оттенками пламени...

Я еще раз окинул взглядом окружающую картину, полную захватывающей грусти, и пошел в избу.

## V

В ямщицкой огромный камелек, плотно сбитый из глины, зиял, точно раскрытая огненная пасть сказочного чудовища. Огонь с невероятной силой рвался в трубу, как будто целая река пламени струилась вверх. Наклонные стены юрты то тесно сдвигались, охваченные багряным отблеском, то утопали чуть заметно во тьме; тогда юрта казалась огромной пещерой с темными сводами. Группа огненных же фигур, будто только что отлитых из не остывшего еще металла, сомкнулась полукругом около камина. В середине, уставившись на огонь задумчивыми глазами и опершись подбородком на руки, сидел молодой станочник с резко инородческими чертами, представитель этого странного, наполовину обьякутевского населения средней Лены. Из горла его лились, примешиваясь к шипению и треску пламени, странные – то протяжные, то истерически прерывистые – звуки. Это была якутская песня-импровизация, – песня, в которой только привычное ухо может уловить признаки своеобразной гармонии. «Господи боже, – подумал я невольно, – как только не выражается человеческое чувство!..» Но так как красота все-таки в самом чувстве, то есть своя доля красоты и в этом диком гортанном, прерывистом завывании, похожем то на плач, то на шум ветра в диком ущелье... Достаточно было взглянуть на бронзовые лица станочников Ат-Давана, чтобы убедиться в присутствии захватывающего и поглощающего душевного движения, царившего в грязной, неприветливой юрте.

Молодой станочник пел, остальные слушали, изредка поощряя певца резкими, произвольными короткими восклицаниями. Мы имеем свои песни, записанные, положенные на ноты, в которых более сложное чувство кристаллизовалось в постоянную форму. Дикая тайга, каменистые тропинки над Леной, угрюмый и сиротливый Ат-Даван имеют свои песни. Они не записаны, не выработаны, не гармоничны и довольно грубы, но зато каждая из них рождается по первому призыву, отзывается, как эолова арфа, своею незаконченною и незакругленною гармонией на каждое дуновение горного ветра, на каждое движение суровой природы, на каждое трепетание бедной впечатлениями жизни... Певец-станочник пел об усилившемся морозе, о том, что Лена стреляет, что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе десяти человек, что шестерка коней стоит у коновязей, что Ат-Даван ждет Арыбын-тойона, что с севера, от великого города, надвигается гроза и Ат-Даван содрогается и трепещет...

Песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного. Песенный язык родился где-то далеко, в неведомых глубинах Средней Азии, откуда великое смешение народов бросило жалкий осколок какого-то племени на дальний северо-восток. Он сохранил на севере пышные образы и краски далекого юга. От севера же, от пугливого морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит, как обвал, песня приобрела пугливую наклонность к чудовищным гиперболам, к гигантским устрашающим

преувеличениям. Вот почему, надо думать, якутский Иванушка, бедный сиротина Эр-Соготох, в своих горестных странствиях натывается то и дело на сказочных молодцов, самый меньший из которых обладает икрами в обхват старой лиственницы, а глаза его весят по пяти фунтов.

Я стал в тени, не замеченный, и слушал песню станочника об Арабын-тойоне... Арабин, Арабин!.. Я где-то слышал эту фамилию. Мне стоило значительного усилия отодвинуть от себя сказочную фигуру, и из-за нее в моей памяти выдвинулась другая. В Иркутске, в знакомом доме, я несколько раз встречал – правда, мимолетно – казацкого хорунжего с этой фамилией. Это был человек ничем не выдававшийся, молчаливый, слегка даже застенчивый тою особою застенчивостью, которою отличаются болезненно самолюбивые люди. Я едва заметил его тогда, но потом слышал, что он чем-то обратил на себя внимание тогдашнего генерал-губернатора и что его употребляют для «особых поручений». Неужели это он? Неужели это о нем я слышу теперь по всему пути – о нем, чье имя едва различалось в иркутской толпе?.. Он уже третий раз пролетает по Лене в качестве курьера, и каждый раз толки о нем долго не смолкают на пустынной реке. На станциях он вел себя как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался, как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и... забывал всюду платить курьерские прогоны. Вероятно, благодаря этим приемам он исполнял поручения в сроки, удивлявшие самых привычных людей, и начальство отличало его еще более. «Курьер» стало кличкой и чуть не постоянной профессией Арабина. Скромный и застенчивый в Иркутске, он становился совершенно другим, лишь только выезжал из города. Быть искренно убежденным, что *всякая* власть сильнее *всякого* закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огромных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления, – от этого может закружиться голова и посильнее головы казачьего хорунжего.

И она действительно кружилась. В последний проезд он уже скакал через редкие города (Киренск, Верхолениск и Олекму), стоя в повозке и размахивая над головой красным флагом. В этом было что-то фантастическое: две тройки мчались, как птицы, с смертельным ужасом в глазах, ящик походил на мертвеца, застывшего на облучке с вожжами в руках; седок стоял, сверкал глазами и размахивал флагом... Местные власти покачивали головами, обыватели разбегались. В этот проезд Арабин отметил свой путь таким количеством павших лошадей, воплей и жалоб, прорвавшихся наконец наружу, что почтовое начальство сочло необходимым вмешаться. Забегая вперед, скажу только, что из-за Арабина поссорились два ведомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было все-таки отказаться от его услуг, но, снабженный отличными рекомендациями, он перешел на службу еще дальше на восток и там, на Амуре, застрелил, наконец, наповал станционного смотрителя. Тогда об Арабын-тойоне заговорили даже в России, и только тогда узнали, что судить, в сущности, некого, так как знаменитый курьер был уже... вполне сумасшедшим.

Такова дальнейшая история грозного и несчастного Арабын-тойона, ожидаемого в эту ночь на далеком Ат-Даване. Вот о ком скрипела и завывала унылая якутская песня в ямщицкой юрте.

## VI

В станционной комнате Михайло Иванович в одном белье сидел за столом. Кругликов помещался напротив в позе значительно более свободной, чем прежде. По наивному оживлению, сверкавшему в простодушно-хищных глазах моего спутника, я сразу увидел, что ему удалось уже завязать один из тех разговоров, до которых он был великий охотник. Это были именно разговоры чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом сумел нажить деньгу. Все подробности наживательских драм имели для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликов давал эти подробности охотно и с объективным спокойствием человека, глядящего на все это со стороны, глазами

наблюдателя.

– Так, говоришь, прогорел? – спрашивал Михайло Иванович, наклонясь через стол.

– До основания-с! – ответил Кругликов и подул на блюдечко с чаем. – Совсем-с, так что, с позволения вашего сказать, в рубашке одной остался, да и та чужая.

– Ах ты, братец мой, какой человек пропал!

– Пропал? Ну, это зачем же-с! Где же этакому человеку пропасть! По здешним-то местам, я говорю, да этакой голове...

– Действительно, шельма, естественная. Говоришь, поправился?

– Да еще как поправился!..

– Ну, дела!.. Чем же он взялся-то?

Кругликов поставил блюдечко и загнул палец:

– Первым делом – женится он вторично на вдове с капиталцем. Капитал, положим, ничтожный...

– Постой! Говоришь: женится! А первая-то померла, что ли?

– Живехонька-с! Это ничего не составляет.

– Ай-ай-ай!.. Н-н-ну-с? Что ты, братец, мямлишь, говори далее!

– Ну-с, и стал легонечко поторговывать на приисках спиртом.

– Спир-том?.. Ну, нет, ноне, брат, на спирту далеко не уедешь. Ноне, брат, на спиртовом-то деле тюрьму себе заработаешь, а богат не станешь. Не прежние времена...

– Ах, нет, позвольте-с, это вы напрасно! Спиртовое дело, оно само по себе, а ежели при этом *пшеничка*...<sup>2</sup>

– Ну, вот это так! ежели ловкому человеку...

– Этот ловок. Шире-дале, шире-дале, и взошел он в копейку настоящую.

Михайло Иваныч хлопнул себя рукой по колену.

– Ах ты, братец мой! Вот голова, так голова... Пей еще! – предложил он радушно, когда г-н Кругликов положил пустой стакан на блюдечко в знак того, что он доволен, но выпьет еще, если его попросят (опрокинуть стакан и положить на него огрызок сахару – значило бы отказаться окончательно). – Пей! А что касающее должности, не сомневайся. Определю, будешь доволен. Я, братец, люблю разговорчивых людей. Только уж ты скажи мне, по правде-истине: хмелем зашибаешься?

Господин Кругликов посмотрел ему прямо в глаза ясным взглядом и ответил:

– Пью-с... Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-с, а пью-с... Но спросите: почему пью? – потому, что нахожусь в горести после прежней благополучной жизни. Вот и Иван Александрович – наверно, изволите знать, прииски у него богатейшие были – говорит, бывало: «Зачем, Кругликов, пьешь? Тебе бы, при твоём уме, вовсе бы касаться не надо... Почерк имеешь прекрасный, экипирован прилично, сам себя ведешь аккуратно... Тебе бы какое место можно занимать, только не касайся вина!» Так вот нет, сердце не дозволяет... «Иван Александрович», – говорю ему...

Господин Кругликов заволновался. По-видимому, он забыл, кому и по какому поводу он делал эти излияния, и, ударив себя в грудь, продолжал:

– Иван Александрович, благодетель, не суди! Господи! Да я бы смолу, – понимаешь ты? – с-смолу бы кипящую пил, ежели бы мог иной раз себе облегчение получить, – забвение горести! Смолу-у!.. Боже мой, создатель! за что ты судьбу мою в эту гиблую сторону закинул?.. Хлеба пуд – четыре с полтиной, говядина – восемь рублей! Ни покою, ни пищи...

– Это верно, – поддержал Михайло Иванович, – корма-то здесь дороги, нечего говорить.

– Эх, нет, не то! – с тоской заговорил вдруг маленький писарь, и эта тоска глубоко щемящею нотой прорвалась в его голосе, промелькнула в лице, изменяла всю несколько

---

<sup>2</sup> *Пшеничка* – золотой песок. «Торговать пшеничкой» – скупать тайным образом подъемное золото у приисковых рабочих.

комичную его фигуру. – Не то-с... Сердце закипает во мне, размышление одолевает...

– Задумываешься? – перебил Михайло Иванович с каким-то пугливым участием.

– Бывает! – угрюмо сознался Кругликов.

– Ах, братец! Ты как-нибудь тово... брось... Самое это плохое дело. У меня, брат, смолоду тоже было; насилу отец-покойник выгнал. После женитьбы и то еще, бывало, нет-нет да и засосет... На свет не глядел бы от мыслей этих... Последнее дело!

– Чего хуже! Поверите: иной раз ночью проснешься, опомнишься: «А где-то ты рожден, Василий Спиридонов, в коих местах юность свою провел?.. А ныне где жизнь влачишь?..» Морозище трещит за стеной или вьюга воеет... К окну, в окне – слепая льдина... Отойдешь и сейчас к шкапу. Наливаю, пью...

– Легче?

– В голову ударит, – ну и омрачит отчасти... Затуманит, потому – настойка у меня... Водка настояща крепчайшая... А настоящего облегчения не вижу.

– Вот оно дело какое! И верно, что лучше бросить... Займись делом, оно, брат, тоже по голове-то ударит не хуже настойки... А скажи ты мне вот что: за что тебя сюда-то уперли?

Этот вопрос, предложенный с такою грубою внезапностью, прошел еще раз по всей фигуре г-на Кругликова, и еще раз она преобразилась, теряя в моих глазах прежний оттенок комизма. Казалось, какая-то искра пробивается из-под давно потухшего, но еще не остывшего вполне пепелища.

Он как-то подернулся, потупился, и его голос, когда он спросил позволения налить себе рюмку, стал глуше.

– Дозволите?

– Угощайся!

Он налил, осмотрел рюмку на свет, как будто ища там ответа на мучительный вопрос, выпил ее залпом и сказал:

– За любовь-с.

Михайло Иванович разинул рот от удивления. Я должен сказать, что заявление г-на Кругликова, высказанное с такою краткою решительностью, было так неожиданно, что заставило и меня взглянуть на него с удивлением. Кругликов, казалось, и сам понимал, что своими словами произвел значительную сенсацию.

– Да говори ты, братец, толком! – сказал наконец Михайло Иванович с досадой.

– Что ж, я правду говорю, – ответил Кругликов, – так как, собственно, из любви к одной девице в начальника своего, статского советника Латкина, дважды из пистолета палил.

Это было уже слишком.

Михайло Иванович окаменел и смотрел на своего собеседника какими-то бессмысленными, мутными глазами. Он походил на путника, который, пробеседовав часа два с самым любезным, хотя и случайно встреченным попугачиком, и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдруг узнает, что перед ним не кто другой, как *celebrissime*<sup>3</sup> Ринальдо Ринальдини.

– Из пистолета? – протянул он растерянно. – Как же это так? Да ты верно ли говоришь: из пистолета?

– Так точно-с. Пистолет настоящий.

– Палил?

– Два раза.

– Да ведь это, братец ты мой, такое дело, такое... самое, сказать тебе, политическое...

– Что тут поделаете! Судите меня, как знаете... Любовь-с.

– Да вы расскажите, Василий Спиридонович, как эта вся история вышла... – обратился я к г-ну Кругликову.

– Да, – поддержал мою просьбу и Копыленков, – что ж, братец, расскажи, расскажи, –

---

<sup>3</sup> Славнейший (лат.).

ничего! Что уж тут... Удивительно!

## VII

Господин Кругликов, отхлебнув последний глоток чаю, опрокинул стакан, положил на донышко кусок сахара и отодвинул все это от себя. После этих приготовлений налил себе рюмку и опять посмотрел на свет. Я сожалел в эту минуту, что я не живописец и не могу изобразить сложных ощущений, совместившихся на оригинальном лице ат-даванского станционного писаря, освещенном оплывшими сальными свечами. Круглый облик, пепельные, аккуратные причесанные волосы с чем-то вроде кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородок. В серых глазах, внимательно глядевших рюмку на свет, можно было бы прочесть и предвкушаемое удовольствие, и тщеславную гордость заинтересовавшего слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучих воспоминаний. Он, запрокинув голову, выцедил рюмку коньяку, поставил ее на стол, обтер губы истрепанным фуляровым платком и обратился к рассказу:

– Моя биография жизни, почтенные господа, очень печальная... Чувствительный человек может окончатательно все понимать, а другие смеются-с... Впрочем, это все равно-с...

Он горько улыбнулся, все еще несколько рисуясь, и затем спросил:

– Не случилось ли кому из вас, почтенные господа, бывать в Кронштадте?

– Это где? – спросил Копыленков.

– Вблизи Петербурга, часа два паровой езды-с, портовый город.

– Я бывал, – сорвалось у меня.

– Бывали-с? В самом Кронштадте-с?

Кругликов живо повернулся ко мне, и глаза его сверкнули оживлением.

– Да, бывал и даже жил несколько месяцев.

– Великолепный город! Порт, крепость, твердыня-с, оплот, окно в Европу-с... Превосходный город, уголок Санкт-Петербурга!

– Да, город хороший.

– Ах, как можно, как можно! Этакого другого города... да где вы найдете? Помилуйте.

А правда ли-с, что теперь, говорил мне как-то проезжий офицер, на Екатерининской улице чугунная мостовая положена?

– Верно.

– Красота, должно быть!.. А пристани-с, Купеческая стенка, форт Павел, форт Константин...

Он увлекался. Моя мысль тоже как-то мгновенно перенеслась с угрюмой Лены в Кронштадт, где я провел несколько радостных месяцев еще студентом... Меня, как и Кругликова, охватили воспоминания: плескала морская волна, сливающаяся с невскою, свистел паровой пароход, длинная дамба гудела под копытами извозчицких лошадей, везущих публику с только что приставшего парохода, сновали катера, баркасы, дымились пароходы... Белые ялики с стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпич немецкой кирки, улицы, перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно киты, неведомо как попавшие в середину города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блеск и роскошь уголка столицы... И опять – лес мачт в синем небе, купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибоя... Синяя даль, сверкающие гребни волн и грузные форты, выступившие далеко в море... Облака, чайки с белыми крыльями, легкий катер с сильно наклонившимся парусом, тяжелая чухонская лайба, со скрипом и стоном режущая волну, и дымок парохода там, далеко из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную даль... в Европу!..

Иллюзию нарушил, во-первых, новый выстрел замерзшей реки. Должно быть, мороз принимался к ночи не на шутку. Звук был так силен, что ясно слышался сквозь стены станционной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то чудовищная птица летит со страшною быстротой над рекою и стонет... Стон приближается, растет, пронесется мимо

и с слабеющими взмахами гигантских крыльев замирает вдали.

Копыленков нервно вздрогнул и затем, как это часто бывает после испуга, с досадой накинулся на Кругликова.

– Ну, так что же, – сказал он нетерпеливо, – родом ты, что ли, из этого самого городу? Начал, так уж говори толком, не мямли!

– Да-с, родом, – отрезал Кругликов с гордостью. – На Сайдашной улице и свет увидал. Сайдашную изволите знать? У отца моего в этой улице собственный дом находился, может, стоит еще и поныне. А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых был, но место имел доходное и, понятное дело, сыну тоже дал порядочного ходу. Образованием не очень увлекался, ограничиваясь начатками грамоты и почерком, но как и сам я был молодой человек аккуратный, по службе исполнительен и у начальства несколько на виду по причине родителя, то и стоял я, могу сказать, на лучшей линии... Да-с, по началу судьбы моей не того можно было ожидать, чем я ныне постигнут. Ясное утро и печальный закат-с...

– Не ропщи! – наставительно произнес Копыленков.

– Ну-с, итак... сказал я вам, милостивые мои государи, что у родителя был собственный дом на Сайдашной улице. А в этой же улице, насупротив, несколько этак наискосок, проживал товарищ моего отца, тоже из ластовых и, по выслуге, занимал место и еще того доходнее...

– А какое? – не вытерпел Михайло Иванович.

– В порту, где происходят ремонт и постройка морского флота судов. Оклады тогда шли не очень чтобы сказать большие, но сторонний доход по тому времени выпадал обильно, – просто было! Можете судить по тому, что с должности редкий день уходили не обмотавшись...

– То есть это что же, насчет чего?.. – недоумевающе спросил Копыленков, для которого, как знатока по части самых разнообразных доходов, эта форма оказалась непонятной.

– Это, видите, в чем состоит. Судно морского флота не то, что ваши паузки. Наружность само собой, крепление там, ванты, рангоут и прочее, но еще внутренняя отделка требует материалу дорогого и тонкого. Великолепие, блеск и даже, можно сказать, комфорт... Ну-с, так вот, в материальных складах материй этих, лионского бархату, аглицких разных шелков... горы... Теперь представьте: надо ему уходить с должности домой; снимает он сюртук, берет кусок шелковой материи, обернет вокруг корпуса, опять одевается, уходит. Пришел домой, разматывает его жена, как катушку какую, – вот и приобрел!

– Важная штука!.. Только как же их там не шупают, на выходе-то?

Как можно! Рабочих, конечно, обыскивают у ворот, а с господами и обращение другое, на доверчивом начале.

– Ничего, можно дела делать... Только надо умному быть. Ежели на жадного человека, который не знает меры, – живо пропасть можно. Все-таки ведь казна!

– Будьте добры, продолжайте, – в свою очередь, перебил я, видя, что теперь увлекается уж Копыленков.

– Да-с, конечно, дело не в этом. А что просто было – это верно. Просто, просто, а только что просвещения было в нашем кругу мало, а дикости много... Из-за этого я и крест теперь несу. Видите ли, была у этого папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна... Отец в ней души не чаял, и даже ходил к ней студент – обучением занимался. Сама напросилась, – ну а отец любимому детищу не перечил. Подвернулся студент, человек умный, ученый и цену взял недорогую, – учи!

– Напрасно, – сказал вскользь Копыленков. – Баловство! Женскому полу это ни к чему...

– Ну-с, а я был той девице, Раисе Павловне, нареченный жених. Родители наши приятели были, мы почти что и выросли вместе, и задумали отцы между собою так, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, с своей стороны, имели друг к другу чувствительное расположение. Сначала-то, знаете, дружба, играем, бывало, вместе, а потом уж и серьезно.

От родителей препятствия не видели и имели постоянно друг с дружкой обращение.

– Грех вышел? – забежал вперед Михайло Иванович.

– Никакого греха! – отрезал Кругликов холодно. – И в мыслях не было, – оба младенцы чистые. Рая до чтения была охотница, так вот в этом больше и время проводили. Сначала Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венецыян, – чувствительные истории!.. Пустяки, конечно, а нравилось: маркграфиня, например, бранденбургская, принцесса баварская, и при всем этом свирепый сераскир... Все такое-этакое... Возвышенные персоны-с и все насчет любви и верности упражняются и претерпевают приключения... Конечно, головы молодые! У меня все-таки служба, а она управится по домашности, как минута свободная – сейчас в комнате своей с ногами на диванчик, в платочек завернется и читает. Под вечер – я с должности вернусь – гулять идем, под ручку-с. В Кронштадте известно какое гулянье: на крепостной вал, на Купеческую стенку, бывало, ходим, на море смотрим... Она мне и рассказывает, что за день-то прочитала. Говорит, говорит, потом и задумается.

«Вот, Васенька, говорит, какие на свете бывали любовники... Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить?.. Вдруг бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?»

Ну, я, конечно, с своей стороны:

«Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, ни к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают...»

Смеюсь, конечно, потому что каждый день в канцелярию хожу, так и то обращение в свете имею, а она – дитё.

«Видишь, говорит, вон у маяка парусок бежит?»

«Вижу, бриг из-за границы идет».

«А что, говорит, может, на этом корабле пират едет: кинется вдруг, город спалит, тебе копьем грудь пронзит, меня в плен...»

Задрожит сама, испугается, жметесь ко мне. Ну, я ее опять успокою:

«Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там аглицкой, с хлопком. Мало ли их, эгличей этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок недолго».

«Да, – говорит и Рая, – наша жизнь есть совсем другая... Вот и студент, Дмитрий Орестович, тоже все смеется... А мне, говорит, что-то скучно...» – И вздохнет.

Ну, подошло время уже и о свадьбе думать. Начали отцы о приданом поговаривать. Вот раз мой отец и говорит: «Женить – так женить, нечего откладывать! Я, говорит, своему даю шесть тысяч, ты сколько?»

«И я, – Раин родитель отвечает, – столько же, вместе составит двенадцать – куда им больше?»

«Нет, – мой опять говорит, – не так! Сам подумай: мой Вася может время от времени в чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, только что стареть будет. Тебе бы по-настоящему и десять тысяч дать не обидно...»

Слово за слово – заспорили. Тот человек горячий, а уж моего-то родителя будто муха укусила: укрепился на своем, и только. Гвоздит одно, не спускает ни копейки. Ну, тот, разумеется, осердился...

«Когда так, говорит, когда ты своего щенка над моей Раичкой на целых четыре тысячи превознес, так не надо ничего! За генерала дочку отдам, не твоему пащенку чета!»

– Нашла, значит, коса на камень, – засмеялся Копыленков.

Кругликов взглянул на него с каким-то удивлением, как будто не расслышал, и продолжал:

– Ох-хо-хо! Так-то вот из пустяков началось. Надо же вам сказать, что начальник наш, действительно, на Раю начал умильным оком поглядывать. Он хотя, скажем, не полный генерал был, да мы-то в правлении всегда его вашим превосходительством звали. Сам приказал: «Для чужих я, говорит, может, и меньше полковника, а своим подчиненным я бог и царь!»

– А что ты думаешь?.. И верно! – опять вставил Копыленков. – До бога высоко, до царя далеко, а он тебя тут завсегда ухватит... Это он правильно!

– В летах он был преклонных, бездетный вдовец, и заметьте, сколько ни сватал из равных себе, – никто за него не отдавал: наружности был самой скаредной... Ну и пала ему на глаз моя Раичка. Разумеется, она и не знала, тем более что я уж считался женихом. Из себя – дело прошлое – был хорош, росту хоть небольшого, да лицом приятен, усики там, волосы всегда напомажены и щегольнуть любил... Да и отец-то ее сначала все-таки жалел единственную дочку. А тут как забрало его за живое, встал на дыбы, захрапел и сейчас мне от дому отказ, как шест, а генералу надежду подал... О-ох! И стала у нас в Сайдашной улице генеральская карета прокатываться...

Глаза Кругликова стали влажны, искра из-под пепла пробилась яснее. К сожалению, он тотчас же залил ее новою рюмкой водки. Рука, подносявшая рюмку, сильно дрожала, водка плескалась и капала на пикейную жилетку.

– А там и чаще! Пешком уж стал захаживать и подарки носить. А уж я-то на порог сунуться не смею: вдруг я туда, а генерал там сидит... Убиваюсь... Вот однажды иду с должности мимо одного дома, где студент этот, учитель, квартировал, – жил он во флигелечке, книгу сочинял да чучелы делал. Только гляжу, сидит на крылечке, трубочку сосет. И теперь, сказывают, в чинах уже больших по своей части, а все трубки этой из рта не выпускает... Станный, конечно, народ – ученые люди...

Кругликов улыбнулся тихой улыбкой, встал, пошарил в какой-то шкатулке в своей темной клетушке и вынес старую книгу.

– Вот, – сказал он, – посмотрите...

Я взглянул, и на меня пахнуло давно прошедшим. Книга была издания 60-х годов, полуспециального содержания по естествознанию. Она целиком принадлежала тому общественному настроению, когда молодое у нас изучение природы гордо выступало на завоевание мира. Мир остался незавоеванным, но из-под схлынувшей свежей волны взошло все-таки много побегов. Между прочим, движение это дало нам немало славных имен. Одно из этих имен – хотя, быть может, и не из первых рядов – стояло на обложке книги.

– Они-с, Дмитрий Орестович, сочинили, – сказал Кругликов, тщательно завертывая книгу в какой-то почтовый бланк. Очевидно, он хранил ее с гордостью, как одно из своих самых лестных воспоминаний о невозвратном прошлом.

– Да, так иду мимо него, слышу, окликает: «Эй, вы, господин Венециян, подите-ка сюда!»

Подошел я: вижу, что меня зовет... Шутник был.

«Что вам угодно-с?»

«Что вы это, говорит, маркграфиню-то бранденбургскую совсем, что ли, бросили? Ведь убивается».

Посмотрел на меня этак с головы до ног... «И то, говорит, как об этаким храбром рыцаре не убиваться...»

Вижу я, что это насмешка, а все-таки человек он был души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смешком да срывом, а после очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:

«Что мне делать, Дмитрий Орестович, научите!»

«А вы, говорит, не знаете?»

«То-то, не знаю».

«Ну, так и я тоже не знаю... А все-таки должен вам передать, что Раиса Павловна ждет вас сегодня в сумерки у себя. Отца не будет, свирепый сераскир тоже в Тамбов уехал. Прощайте!»

«Посоветуйте, Дмитрий Орестович, как мне быть!»

«Ну, нет, говорит, я вам в этом деле не советчик. Я вот советовал Раисе Павловне, чтоб она бросила за окно всех сераскиров, да и Венецияна одного кстати туда же... Не слушает; а вам что и советовать...»

Грустно мне тогда, признаться, сделалось. «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я хуже других-прочих женихов, только что вот несчастлив: невеста моя начальнику приглянулась. Так опять это вина не моя». Ну, потом вспомнил, что идти вечером с Раей повидаться, и повеселел.

В сумерки пробрался к ней... Кинулась мне Раиса Павловна на шею и заплакала. Посмотрел я на нее, не узнал. И та – и не та. Побледнела, осунулась, глаза большие, смотрит совсем по-иному. А красота... неопишанная! Стукнуло у меня сердце-то. Не моя это Раинька, другая девица какая-то. А обнимает: «Вася, говорит, ми...лый, же...ланый, говорит, пришел, говорит, не за...был, не бр...»

Внезапно прилив слез подступил к глазам Кругликова, горло его сжалось спазмами. Он встал, отошел к стене и простоял несколько времени лицом к какому-то почтовому объявлению.

Взглянув на Михайла Ивановича, я с великим изумлением заметил, что и без того рыхлые черты этого не особенно сентиментального человека тоже как-то размякли, распустились и глаза усиленно моргали.

– Что уж это, – произнес он растроганно, – до чего чувствительная, право, история!.. Ну-ка ты, бедняга, чебурахни стаканчик! Ничего, брат, что делать! Жизнь ваша, братец, юдоль...

Кругликов стыдливо подошел, налил, выпил и обтер лицо фуляром.

– Простите, господа почтенные, не могу... В последний раз я тогда Раичку свою обнимал. С этих пор уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать... воспоминание и святыня-с... Недостойн...

– Ну, ну, – защищался Копыленков от нового припадка чувствительности, – ты уж, братец, как-нибудь того, как-нибудь досказывай дальше. Что уже тут...

– Ну, просидели мы вечер этот. Раиса Павловна повеселела маленько.

«Полно, говорит, кого это мы, в самом деле, хороним. Ничего! укрепляйся, Васенька! Видно, и наше время настало. Помнишь ли, говорит, наш разговор на валу? Вот оно по-моему и вышло; свирепый-то сераскир – ведь это, говорит, сам Латкии и есть».

И засмеялась, а за нею я... Часто это у нас бывало; она, как солнышко из-за тучи, просветлеет – ну и я, на нее глядя...

«Смотри, говорит, Васенька, укрепись; покажем, какая может быть наша любовь; ты только не сдавайся, а уж я-то не сдамся. погоди, какую я вещь намедни купила...»

Вынимает из комода пистолетик. Так, небольшая штучка, – ну, да ведь все-таки оружие огнестрельное, не шутка. У меня даже в пятки вступило... Вот под конец вечера я эту штучку-то у нее из стола взял да тихонечко в пальто, в карман боковой, и спрятал... Спрятал, да так и забыл, да и она-то не хватилась... Сам на следующий день иду к родителю. Сидел он у себя, чертежи делал, судно они новое строили... Увидел меня, повернулся, в глаза не смотрит... Э-эх! чуял ведь, что сына губит из-за гордости своей... Да, видно, судьба!..

«Что, говорит, надо?» Я в ноги. Куда тут! и слушать не хочет. Встал я тогда и говорю: «Ну, когда так, то я нахожусь в совершенных моих летах. Женюсь без приданого».

А родитель у меня, надо заметить, хладнокровен был. Шею имел покойник короткую, и доктора сказали, что может ему от волнения крови произойти внезапная кончина. Поэтому кричать там или ругаться шибко не любили. Только, бывало, лицо нальется, а голос и не дрогнет.

«Вот, говорит, что: дурак ты, Васька, право, дурак! Говоришь, а не сделаешь... А я скажу, так уж будет по-моему. Помни это: при твоих совершенных летах я тебя отдеру, как сидорову козу...»

«Не может быть, говорю, я чиновник».

«Не веришь? Ладно».

Отворил окно, поманил пальцем... Жили у нас во дворе, во флигелечке, два брата – бомбардиры отставные, здоровенные, подлецы, усищи у каждого по аршину, морды красные... Сапожничали: где починить, где подметку подкинуть, где и новую пару сшить, а

более насчет пьянства. Вошли в комнату, стали у косяков, только усами водят, как тараканы: не перепадет ли? Отец подносит по рюмочке.

«Вот, говорит, вам, господа бомбардиры, шнапсу на первый раз. Посмотрите вот на этого молодца хорошенько. Можете ли вы его моей родительской рукой высечь?..»

Посмотрел тут младший бомбардир на старшего, а тот отвечает:

«Родительской рукой завсегда можно, – закон дозволяет».

«Ну, имейте в виду на будущее время. Как сигнал выкину, сейчас вы, говорит, его на буксир, клади в дрейф, грузи с кормовой части!.. Ну, ступайте все трое!»

Прихожу после того на службу, а там говорят: начальник звал. Вхожу. Сидит на кресле один в кабинете, искоса на меня смотрит, пальцами по столу этак барабанит, молчит. Потом повернулся, поманил к себе ближе, опять на меня смотрит.

«Вы, говорит, что это... Мечтаете?»

«Помилуйте, отвечаю, ваше превосходительство, кажется, со всем усердием служу и ничуть не мечтаю. Смею ли я?..»

«Нет, говорит, я не превосходительство вовсе... Не стесняйтесь, молодой человек. Нынче это, говорит, в моде-с. Такие времена, что начальство нипочем! Вы, кажется, имеете намерение жениться?»

«Это, говорю, ваше превосходительство, в моем возрасте и притом с дозволения начальства дело законное».

«Так, так... А кого имеете в виду?»

Замаялся я. Погрозил он пальцем и говорит:

«Вот видишь, Кругликов, совесть у тебя против начальства не чиста, небось замаялся... Ну, брось, забудь об этой девице думать, отринь, говорит, всякое помышление, получше тебя жених найдется. Ступай!»

Вышел я из кабинета, слезы у меня так и текут. В канцелярии и то удивляются. Должно быть, говорят, ведомости перепутал. А уж какие тут ведомости – свет мне не мил: тут – начальник, домой придешь – бомбардиры выбегают из флигеля, на окно к отцу смотрят, нет ли сигналу... Просто некуда стало податься, и что мне делать, не знаю, потому что выходу себе не вижу. Извожусь... Отец уж сам стал замечать и бомбардирам запретил меня тревожить. Выскочили они раз за сигналом, так я весь задрожал, рухнулся оземь, изо рта пена пошла. Ну, отец видит, что испортил меня тиранством, велел оставить, подумывать стал, сделался осторожнее. А гордость-то все-таки осталась... Царствие небесное! Пока жив был, не оставлял меня. Писал три раза в год и деньги сюда посылал. Перед смертью письмо прислал: «Простишь ли, сын мой, что я тебя несчастным сделал?..» Бог простит, конечно. Меня-то вот... меня-то никто не простил...

– Ну? – прервал опять Копыленков тяжелое, хотя и недолгое молчание, и Кругликов продолжал рассказ:

– Враг-то мой видит, что я ослаб, тут и вздумал насесть. Через неделю этак или маленько поболее зовут меня к начальнику. Встречает серьезно.

«Одевайся! Помни, говорит, Кругликов, что мне нужны подчиненные, которые бы со всею преданностью... А кто, говорит, не предан, такие терпимы быть не могут...»

– Понятное дело! – одобрил эту сентенцию Копыленков. Кругликов опять пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

– Ну, сели мы... сели-с и поехали... А куда именно поехали, так этого я, милостивые мои господа, подумать не мог... В Сайдашнюю улицу, к Раисе Павловне...

– Зачем? – невольно вырвалось у меня.

Кругликов посмотрел на меня с выражением, в котором смешивалась старая печаль и тщеславие.

– Сватом-с, – ответил он не без гордости.

– Бог знает, что вы это рассказываете нам, Василий Спиридонович!

– Нет, не бог знает что-с, а истинную правду... Потому что, видите ли-с... Раиса Павловна пожелала. «Если же, говорит, вы можете так утверждать, что он от меня

отступился, то присылайте его сватом...»

– Ну и девка же... Ах, бедовая! – не выдержал опять Копыленков.

– И вы пошли? – спросил я с невольной укоризной.

– Да ведь повез... – застенчиво ответил рассказчик и затем с внезапной резкостью повернулся к Копыленкову: – А вы, милостивый государь, не можете ничего понимать! Замечания делаете, а понятия чувств не имеете-с.

– Очень нужно еще и понимать-то тебя, – отразил неожиданную атаку озадаченный купец.

– Ну и м-м-малчи-те-с, – отрезал Кругликов каким-то скрипучим голосом и опять повернулся ко мне.

– Да, милостивый государь... Как изволите справедливо говорить-с, я и поехал... По-ехал-с... После тоже везли меня, для объявления приговора... называется публичная казнь, на площади-с... А было мне все-таки легче. Верьте мне, легче было... А все-таки по-ехал-с. Люди видели, как мы оба в Сайдашной улице выходили из кареты. Генерал были сумрачны, а уж на мне-то и лица не было... Да!.. И все-таки поехал-с, милостивый государь! Судите об этом, как ваше понятие дозволяет, а поехал-с... Что делать!.. Только входим мы в переднюю, а навстречу как раз Дмитрий Орестович, студент. Увидел нас, остановился, поглядел на меня и говорит: «Ну, так и знал. Хорош, нечего сказать, принц венецианский... И свирепый сераскир тут же», – это про генерала.

Кругликов вздохнул и улыбнулся.

– Резкий человек был, бесстрашной породы. Генерал так даже позеленел и говорит ему: «Я вам, молодой человек, не сераскир! Не сераскир-с, а государя моего статский советник! Прошу не забывать-с...» Дмитрий Орестович повели этак плечом и говорят: «Ну, там какой бы ни было, а что напрасно беспокоитесь, это верно». И вышел, а генерал повернулся ко мне: «Помни, говорит, ты это: никогда я тебе этого не забуду, ни-ког-да-с...» Вот, милостивые господа, какова правда на свете... Студент нагрубил, а Кругликов отвечает!..

Однако, между тем, прошли мы гостиную, входим к Раисе Павловне... Сидит моя Рая, генеральская невеста, глаза наплаканные, большие, прямо так на меня и уставилась... Опустил я глаза... Неужто, думаю, это она, моя Раинька? Нет, не она, или вот на горе стоит, на какой-нибудь высочайшей... Ну, стал я у порога, а генерал к ручке подошел. «Вот, говорит, вы, королева моя, сомневались, а он и приехал!..»

Приподнялась она, оперлась руками на столик, глядит на меня, будто узнать не может. Генерал тоже повернулся, смотрят оба, а я... стою в Раинной комнате... у порога-с.

«Васенька...» – хотела, видно, сказать что-то, потом откинулась на кушетку и засмеялась...

«А что, говорит, можете вы его в лакеи к себе определить?» Генерал и обрадовался: «Могу, говорит, если вы, моя королева, пожелаете...»

«Что ж, говорит, возьмите, только жалованьем, говорит, не обижайте...»

У г-на Кругликова что-то вдруг сдавило горло. Он опустил голову, скрывая от нас лицо, и в комнате водворилось молчание. Даже Копыленков только глядел на писаря широко открытыми, как будто удивленными глазами, не смея нарушить тишину, наполненную тяжким сознанием глубокого человеческого унижения...

Наконец Кругликов перевел дух и посмотрел на меня каким-то свинцовым, тусклым взглядом.

– Вот тут-то, – сказал он с расстановкой, – вот в эту самую минуту, в меня, милостивый государь, и вступило. Точно я ото сна очнулся. Гляжу: комната знакомая, будто сейчас еще мы в ней с Раичкой вечером сидели. На кушетке сидит сама она, лицо закрыла, перед ней генерал семенит, а рядом столик открытый... И вспомнилось мне вдруг, как я оттуда пистолетик вынул. Да ведь он, думаю, и теперь в пальто у меня в кармане лежит... Повернулся тихонечко, вышел в переднюю. Пистолетик в боковом кармане прикорнул, будто вот дожидается. Вынул я его и, помню, даже засмеялся.

Пошел опять назад, тороплюсь, как бы, думаю, генерал-то лицом к двери не

повернулся... Повернись он, кажись, ничего бы этого не было. Да нет, Раиса Павловна плачут, лицо закрыли, генерал руки от лица отымает. Вошел я, Раиса Павловна отняла руку, взглянула да так и замерла. А я... ступил два шага... только бы, думаю, не повернулся... И раз-раз в него... сзади...

– Убил? – в ужасе приподнялся Копыленков.

– Нет, не убил, – с вздохом облегчения, как будто весь рассказ лежал на нем тяжелым бременем, произнес Кругликов. – По великой ко мне милости господней выстрелы-то оказались слабые, и притом в мягкие части-с... Упал он, конечно, закричал, забарахтался, завизжал... Раиса к нему кинулась, потом видит, что он живой, только ранен, и отошла. Хотела ко мне подойти... «Васенька, говорит, бедный... Что ты наделал?..» – потом от меня... кинулась в кресло и заплакала.

«Господи, говорит, сзади... подкрался... какая низость... Уйдите, говорит, оба, оставьте меня...» И все пуще да пуще и плачет, и смеется... Истерика! А тут и люди сбежались. Ну, дальше-то известно что: арестовали.

– Ну, выпьем! – сказал Копыленков. – Все, что ли? Очень уж страшно. Ах, братец ты мой! И отчаянные же вы, право, отчаянные!.. Как это вы можете только...

– Сужден старым судом, без снисхождения. Может быть, теперь бы... муку бы мою во внимание взяли, что я был человек измученный... А тогда всякая была вина виновата. Услали. Отец в год постарел на десять лет, осунулся, здоровьем ослаб, места лишился, а я вот тут пропадаю.

– А Раиса Павловна?

Господин Кругликов встал, вошел в свою каморку, снял со стены какой-то портрет в вычурной рамке, сделанной с очевидно нарочитым старанием каким-нибудь искусным поселенцем, и принес его к нам. На портрете, значительно уже выцветшем от времени, я увидел группу: красивая молодая женщина, мужчина с резкими, характерными чертами лица, с умным взглядом серых глаз, в очках, и двое детей.

– Неужели это?..

– Они-с, – сказал Кругликов почтительно. – Раиса Павловна. А это их супруг, Дмитрий Орестович. Не забывают. К новому году жду письма-с. И портрет этот прислали по униженной моей просьбе, да и... деньгами когда... то же самое...

Он говорил почтительно, как будто это была не та Рая, с которой он некогда читал о королевнах Ренцывенах и Францылях Венецианских. Только когда он указывал на старшую девочку, тоненькую, светловолосую, с большими мечтательными глазами, то голос его опять слегка дрогнул.

– Похожа... две капли воды Раиса Павловна девочкой-с.

Он быстро взял портрет, к которому потянулся было заинтересованный Копыленков, унес в свою комнату и долго стоял там у стены, как прежде перед почтовым объявлением.

Вся фигура в кургузом пиджачке нервно вздрагивала...

## VIII

После этого никакие уже разговоры не клеились. Сторож принес в печку дров, в ямщицкой юрте огромный камелек тоже весь заставили дровами, так как огонь разводится на всю ночь. Пламя разгорелось и трещало. В приоткрытую дверь все еще виднелись у огня фигуры ямщиков, лежавших вокруг камелька на скамьях.

Ат-Даван успокоился на ночь.

Господин Кругликов отвел нам соседнюю комнату, где Копыленков тотчас же заснул. Станционная комната осталась незанятой.

– Для Арабина? – спросил я.

– Да, – как-то особенно угрюмо ответил Кругликов.

Женщина, прислуживавшая нам, вероятно, давно спала; поэтому г-н Кругликов хлопотал сам: он накидал в самовар мелкого льду, бросил углей и поставил его, на случай, у

камелька. Потом принялся убирать со стола, причем не преминул, уставляя бутылки, выпить еще рюмку какого-то напитка. Он становился все более мрачен, но, казалось, сон совсем не имел над ним власти.

Наконец на Ат-Даване все смолкло. Только по временам снаружи трещал мороз да в потемневших комнатах, по которым пробегали теперь только трепетные красноватые отблески пламени, слышались глухие шаги и шлепанье валенок, а порой тихо звенела рюмка и булькала наливаемая жидкость. Г-н Кругликов, которому расшевелившиеся воспоминания, по-видимому, не давали заснуть, как-то тоскливо совался по станции, вздыхал, молился или ворчал что-то про себя.

Я забылся...

.....  
Когда я очнулся, была все еще глухая ночь, но Ат-Даван весь опять жил, сиял и двигался. Со двора несся звон, хлопали двери, бегали ямщики, фыркали и стучали копытами по скрипучему снегу быстро проводимые под стенами лошади, тревожно звенели дуги с колокольцами, и все это каким-то шумным потоком стремилось со станции к реке.

В соседней комнате г-н Кругликов не торопясь зажег свечи; серная спичка сначала кинула синеватый, мертвенный свет, потом вдруг загорелась и осветила комнату.

Господин Кругликов поднес ее к светильне, зажег свечу и повернулся. Перед ним невдалеке стояла новая фигура: человек в оленьей дохе с капюшоном, запорошенный снегом. Из-под оленьего мешка глядели два черных глаза, слегка скошенные, как у карыма, виднелось бледное лицо, тонкий нос и длинные, черные, опущенные книзу усы. По этим чертам я узнал Арабын-тойона, которого с таким тихим трепетом и смирением ждал Ат-Даван уже несколько дней. И в то же время это был мой знакомый, казацкий хорунжий, незначительный и застенчивый в Иркутске.

По-видимому, первый выход обещал, что все сойдет благополучно. Арабин, очевидно, сильно устал, может быть, от дороги, а может быть также – от роли грозного Арабын-тойона... Казалось, он хочет просто отдохнуть, напиться чаю, прилечь... Теперь он стоял, слегка опустившись, с сонным лицом, в ожидании света. Только по временам в мутных глазах загоралось нетерпение... Зато с г-ном Кругликовым произошла резкая перемена: он совсем не был похож на того маленького, невзрачного и смешного человечка, который еще вчера униженно просил пожалеть его и не требовать лошадей. Теперь он был угрюм, серьезен и сдержан. Движения его были неторопливы и полны какой-то решимости. Он даже как будто вырос. По-видимому, вчерашний рассказ, большое количество водки, пары которой только проходили через его голову, разгоряченную старыми растревоженными воспоминаниями, и ночь без сна, – все это не прошло для г-на Кругликова даром.

– Черт возьми! – произнес Арабин нетерпеливо. – Шевелись там!

– Покорнейше прошу потише, здесь проезжающие, – спокойно отвечал Кругликов.

Арабин снимал свою шапку, и когда снял ее, то в его черных глазах сверкнуло что-то вроде изумления. Однако он все еще, по-видимому, старался удержаться.

– Самовар! – буркнул он, кидая доху и садясь к столу.

– Готов.

– Лошадей!

– Пожалуйте прогоны.

Голова Арабина, низко остриженная, с тонкими, слегка торчащими по-монгольски ушами, повернулась тревожно и живо. В глазах сверкнуло уже что-то порезче простого удивления. Он поднялся и произнес опять:

– Лошадей, живо!

– Прогоны пожалуйста, – с каким-то вызывающим спокойствием отрезал г-н Кругликов.

Вблизи меня что-то зашевелилось. Проснувшийся Копыленков, полусидя на кровати, старался без шума натянуть какую-то принадлежность костюма с таким видом, будто на станции начинался пожар или неприятельское нашествие. Его шея была вытянута, простодушно-хитрые глаза сверкали в полутьме от испуга и любопытства.

– Н-ну, что-то будет, – наклонясь вдруг ко мне, прошептал он, – беда!.. И отчаянный же этот Кругликов... Помни, братец ты мой, мы с тобой ничего не видали – в свидетели еще попадешь...

Только теперь, после этих слов, я сообразил положение вещей... Спрашивать у г-на Арабина, известного и грозного Арабын-тойона, прогоны, да еще таким решительным тоном, да еще как условие подачи лошадей, – это была со стороны смиренного, приютившегося под дикими горами Ат-Давана неслыханная дерзость. Арабин вскочил, сердито дернул к себе сумку, выхватил какую-то бумагу и порывисто швырнул ее Кругликову. По всему было видно, что он, усталый и разбитый, хочет удержаться в известных пределах, что ему теперь тяжела и неприятна роль грозного Арабын-тойона в этот поздний час, на теплом и освещенном Ат-Даване. Но он не хотел также платить прогоны, тем более что эта тихая, смиренная Лена имеет одну особенность: заплати г-н Арабин на Ат-Даване – и его престиж сразу падет, и уже всюду, на протяжении трех тысяч верст, ямщики от станка до станка разнесут известие, что улахан Арабын-тойон сдался и платит... И всюду уже с него неотступно потребуют тоже прогонов. Он, вероятно, надеялся еще, что Кругликов забыл, кто он такой, и бумага ему напомнит. Но вышло еще хуже.

Кругликов, все так же не торопясь, развернул бумагу, прочитал ее внимательно, долго переводил глаза от строки к строке и потом сказал:

– Здесь вот сказано: «на четверку лошадей за установленные прогоны». А вы берете шестерку под две повозки и не изволите платить прогонов. Незаконно-с...

Голос его звучал тоже спокойно, но он как будто разнесся по всему Ат-Давану. Шум, которым был полон станок, приостановился, ямщики теснились с робким интересом к дверям, ведущим из ямщицкой в горницы. Копыленков притаил дыхание.

Арабин встрепенулся, окинул станок вспыхнувшим взглядом, выпрямился, стукнул кулаком по столу, и по лицу его пробежало злое выражение.

– Молчать! – крикнул он. – Это что... бунт?

– Никакого бунту-с, а по закону. По указу его императорского величества. Что, в самом деле, до коих пор...

Кругликов не успел закончить. Сильный удар свалил его с ног... Арабин кинулся было к лежащему...

Я вбежал в ту комнату и остановился. Арабин стоял против меня, удивленный моим неожиданным появлением. Это, вероятно, спасло и Кругликова, и самого Арабина от дальнейших последствий его иступления. Бледное лицо его подергивалось, в глазах бегало что-то беспокойное и больное. Казалось, казацкий хорунжий, забывший на Лене о том, что он только казацкий хорунжий, и сам уже отвык представлять себя иначе, как Арабын-тойоном, могучим и грозным, с головой выше приленских сопок. И вдруг мое появление перенесло его в Иркутск, в низкую комнату, где голова хорунжего далеко не достигала потолка и не поднималась выше десятков других, самых обыкновенных голов.

Однако Ат-Даван не заметил ни этой растерянности, ни этого душевного движения. Он видел только удар, видел, что писарь лежал на полу. Двери из ямской захлопнулись, на дворе опять началась беготня. Из нашей комнаты слышался притворный храп Михаила Ивановича...

Очевидно, бунт в Ат-Даване прекратился, и Арабын-тойон остался для Ат-Давана тем же могучим и грозным, о котором недавно пела песня.

Через несколько мгновений Кругликов поднялся с полу, и тотчас же мои глаза встретились с его глазами. Я невольно отвернулся. Во взгляде Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце, – так смотрят только у нас на Руси!.. Он встал, отошел к стене и, прислонясь плечом, закрыл лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще более убитая, приниженная и жалкая.

Женщина торопливо внесла самовар, искоса и с жалостью кинув на хозяина быстрый взгляд... Арабин, тяжело дыша, уселся за самовар.

– Я вам пок-кажу бунтовать! – ворчал он. Дальше разобрать было трудно. Слышно

было, однако, какое-то упоминание о «свидетелях», которым г-н Арабин советовал отправиться ко всем чертям, о чести мундира и еще что-то в том же роде.

## IX

Между тем в полутьме нашей комнаты Михайло Иванович Копыленков спешно заканчивал свой туалет. Через несколько минут он появился в дверях, одетый, застегиваясь, покашливая и стараясь изобразить на лице приветливую улыбку. Арабин взглянул на это неожиданное появление с выражением сердитого недоумения. По-видимому, он не мог понять сразу, что нужно этому улыбающемуся, подпрыгивающему на ходу и кланяющемуся незнакомцу, однако приятные улыбки и поклоны озадачивали его и предупреждали вспышку не утихшей еще свирепости. Он подносил слегка дрожащею рукой блюдце с горячим чаем и искоса недоброжелательно следил за маневрами Копыленкова.

– Вам что надо? – вдруг отчеканил он резко, ставя блюдце на стол.

Копыленков чуть-чуть дрогнул, но тотчас же опять принял прежнее выражение подловатой любезности.

– Собственно, ничего-с. Почтение засвидетельствовать... Не изволили признать, видно... У Лев Степановича, у горного исправника, если изволите вспомнить, имели разговор и даже-с... дельце одно происходило...

– А-а! Ну, так, – произнес Арабин, опять принимаясь за чай. – Теперь помню.

– Именно-с, – обрадовался Копыленков. – А могу побеспокоить вопросом, по какому поручению изволите?..

– Не ваше дело!

– Это справедливо, – смиренно согласился Михайло Иванович. – Может, касающее секрета...

Бедняга не мог понять, что самое упоминание об Иркутске, о горном исправнике, обо всех этих будничных делах не могло быть приятно Арабын-тойону, все еще находившемуся в эпическом, сказочном мире.

– Справедливо-с, – в раздумье еще раз произнес Копыленков и, чтобы удержать позицию, прибавил: – Сердиться изволили тут мало-мало... Да уж истинно, что в здешних местах ангел – и тот рассердится. Верно.

Он покосился в сторону Кругликова и вздохнул:

– Необразованность!

Однако и это не помогло. Арабин не обратил на него внимания, допил стакан, вынул книжку, что-то записал в ней, потом торопливо оделся, рванулся к двери, потом остановился, взглянул, нет ли в дверях кого-либо из ямщиков, и, будто обдумав что-то, вдруг резким движением швырнул деньги. Две бумажки мелькнули в воздухе, серебро со звоном покатилося на пол, Арабин исчез за дверью, и через минуту колокольчики бешено забились на реке под обрывом.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что все мы, трое безмолвных свидетелей этой сцены, не сразу сообразили, что это значит. Как всегда в денежных вопросах, первый, однако, догадался Копыленков.

– Уплатил! – произнес он с величайшим изумлением. – Слышь ты, Кругликов? Ведь это, смотри, прогоны. Ах ты, братец мой!.. Вот так история!

Из ямщиков никто не был свидетелем этой уступки со стороны грозного Арабын-тойона.

## X

Поздним утром следующего дня мы с Копыленковым опять усаживались в свой возок. Мороз не уменьшался. Из-за гор, синевших в морозном тумане за рекой, бледными столбами прорывались лучи восходящего солнца. Лошади бились, и ямщики с трудом удерживали

озябшую тройку.

На Ат-Даване было грустно, серо и тихо. Кругликов, подавленный обрушившеюся вчера невзгодой, угнетенный и приниженный, проводил нас до саней, вздрагивая от холода, похмелья и печали. Он с каким-то подобострастием подсаживал Копыленкова, запахивал его ноги кошмой, задерживал пологом.

– Михаил Иванович, – произнес он с робкою мольбой, – будьте благодетель, не забудьте насчет местечка-то. Теперь уж мне здесь не служить! Сами видели, грех какой вышел...

– Хорошо, хорошо, братец! – как-то неохотно ответил Копыленков.

В эту минуту ямщики, державшие лошадей, раскочились в стороны, тройка подхватила с места, и мы понеслись по ледяной дороге. Обрывистый берег убегал назад, туманные сопки, на которые я глядел вчера, – таинственные и фантастические под сиянием луны, – надвигались на нас теперь хмурые и холодные.

– Ну, что ж, Михаил Иванович, – спросил я, когда тройка побежала ровнее, – доставите вы ему место?

– Нет, – ответил Копыленков равнодушно.

– Но почему же?

– Вредный человек-с, самый опасный, д-да!.. Вы вот рассудите-ка об его поступках. Ну, захотел он тогда, в Кронштадте-то в этом, начальника уважить – и уважь! Отказался бы вчистую от невесты и был бы век свой счастлив. Мало ли их, невестов этих. От одной отступился – взял другую, только и было. А его бы за это человеком сделали. Нет, он, вот посмотрите, как уважил... из пистолета! Ты, братец, суди по человечеству: ну, кому это может быть приятно? И что это за поведение за такое?.. Сегодня он вас этак уважил, а завтра меня.

– Да ведь это давно было. Теперь он не тот.

– Нет, не скажи! Слышал, чай, как он вчера с Арабиным-то разговаривал?..

– Я слышал: требовал прогоны, – это его обязанность.

Копыленков повернулся с досадой ко мне.

– Ведь вот умный ты человек, а простого дела не понимаешь. Прогоны!.. Нешто он ему одному не платил? Чай, он, может, сколько тысячей верст ехал, нигде не платил. На вот, ему одному подавай, велика птица!

– Обязан платить.

– Обязан! Кто его обязал-то, не вы ли с Кругликовым со своим?

– Закон, Михайло Иванович.

– За-а-кóн... То-то вот и он вчера заладил: закон. Да он знает ли еще какое это слово: «закон»?

– Какое?

– А такое: раз ты его скажи, десять раз про себя поддержи, пока не спросят. А то, вишь ты, развеличался: «Закон, по закону!..» Дубина ты, а не закон тебе! Нашелся тоже большой человек – начальнику законы указывать...

Видя, что Михайло Иванович начинает сердиться свыше всякой меры, и опасаясь, чтоб окончательно не испортить дела, я попробовал зайти, в интересе Кругликова, с другой стороны.

– Однако вспомните, Михаил Иванович, ведь вы же ему обещали.

– Мало ли что обещал... Разжалобился, оттого и обещал...

– Подымай! – крикнул вдруг Михайло Иванович, так как возок, скользя с наклонной льдины, опять опрокинулся, и опять Михайло Иванович очутился подо мной.

Пришлось выйти. Вероятно, в этом месте борьба реки с морозом была особенно сильна: огромные белые, холодные льдины обступили нас кругом, закрывая перспективу реки. Только по сторонам дикие и даже страшные в своем величии горы выступили резко из тумана, да вдали, над хаотически нагроможденным торосом, тянулась едва заметная белая струйка дыма...

Это, должно быть, и был Ат-Даван.

1892